

Андрей Ренников

Минувшие дни

Андрей Митрофанович Ренников (Селитренников) родился 14 ноября ст. ст. 1882 г. в Кутаиси в семье присяжного поверенного. Детство провел в Тифлисе, там же учился в Первой классической гимназии. Окончил два факультета Новороссийского университета (Одесса), получив золотую медаль за сочинение «Система философии В. Вундта». Был оставлен при университете на кафедре философии. Совмещал преподавательскую деятельность с журналистской в газете «Одесский листок».

В 1912 г. переехал в Петербург, где стал редактором газеты «Новое время». Под псевдонимом Ренников регулярно печатал в газете рассказы, очерки, «маленькие фельетоны».

С 1912 г. стали выходить сатирические романы: «Сеятели вечно-го», «Тихая заводь» и «Разденье, человек»; очерки «Золото Рейна» и «В стране чудес: правда о прибалтийских немцах»; сборники рассказов «Лунная дорога» и «Спириты». Автор быстро стал известен всей читающей Россией, но его замалчивала либеральная пресса.

В годы Гражданской войны был сотрудником отдела пропаганды при правительстве Вооруженных сил Юга России (ОСВАГ). В марте 1920 г. он выехал из Новороссийска через Варну в Белград, помогал в издании газеты «Новое время» в 1921-1926 гг. В 1926 г. писатель переехал в Париж, став постоянным сотрудником газеты «Возрождение», где по 1940 г. регулярно выступал в рубрике «Маленький фельетон», печатал очерки и рассказы.

Во время Второй мировой войны и после нее жил на юге Франции, в Ницце.

В 1953 г. в Ницце и других городах Европы русская эмиграция торжественно отметила 50-летний юбилей литературной деятельности

Ренникова. Во Франции, Англии, США и других странах прошли торжественные собрания, многие театры русской эмиграции поставили его пьесы. Ренников до последних дней вел обширную переписку: отвечал на письма читателей и издателей. Умер писатель 23 ноября 1956 г. и был похоронен на кладбище Кокад в Ницце вместе с супругой Людмилой Всеволодовной (1886-1950).



Почти ничего из его обширного наследия на родине опубликовано не было.

Публикуемый фрагмент – часть готовящегося нами к выпуску очередного тома произведений А. Ренникова под названием «Было всё, будет всё», куда будут включены мемуары писателя-эмигранта. Редакторы-составители в 2018 г. в издательстве «Алетейя» уже выпустили сборник фельетонов и очерков А. Ренникова «Потому и сидим».

Андрей Власенко (США)

Михаил Талалай (Италия)

Вместо предисловия

Некоторые из друзей настойчиво советуют мне написать мемуары. Мотивируют они эти советы тем, что на своем веку немало встречал я интересных людей, много пережил всевозможных событий.

А помимо того, по их мнению, я уже вполне созрел для занятий воспоминаниями. Печень у меня не в порядке; подагра иногда дает о себе знать; а склероз нередко показывает, что достаточно умудрен я жизненным опытом.

Словом, друзья полагают, что мне уже пора не жить, а вспоминать о жизни.

Сначала я было заколебался. А в самом деле, не приняться ли за это занятие? Каждому человеку лестно во всеуслышание рассказать о своем детстве, отрочестве, зрелых годах; указать, каким вдумчивым, впечатлительным ребенком он был, поражая своим умом окружающих и приводя в умиление беспристрастных родителей; каким замечательным юношей оказался впоследствии, какой пронизательностью обладал в зрелом возрасте, предвидя грядущие события, о которых никто другой не догадывался.

Итак, мне показалось сначала, что согласиться следует. Но перед тем как взяться за дело, вздумал я ознакомиться: как писали у нас, в эмиграции, свои воспоминания опытные мемуаристы? И тут-то начались сомнения.

Ведь, увы, был я в России совершенно скромным, заурядным человеком, от которого ничто не зависело. Начальником штаба ни в какой армии не состоял. Министерством не управлял, даже почтой и телеграфом. Императорскими театрами не заведовал. На российские финансы влияния не оказывал. При дворе роли никакой не играл. Особенным богатством не обладал, чтобы проигрывать миллионы в Монте-Карло или метать бисер перед парижскими дамами полусвета.

И, наконец, академиком по отделу изящной словесности не был, чтобы презирать всех писателей, кроме себя.

В общем, оснований для писания мемуаров у меня было мало. А тут еще услышал я как-то рассказ об одном жутком случае, происшедшем в Париже.

Одна русская дама была большой любительницей чтения. Читала она все, что подворачивалось под руку. И попался ей однажды том чьих-то воспоминаний. Книга была растрепанная, без переплета; в начале не хватало обложки и нескольких первых страниц.

Прочла дама весь том; возможно, что не очень внимательно; возможно даже – не все главы. И с радостью заметила, что неизвестный мемуарист-автор среди всех государственных деятелей старой России высоко расценивает только одного: как раз ее знакомого эмигранта, которого она часто встречала в церкви.

Принесла дама книгу в церковь и после литургии подошла к этому маститому государственному деятелю.

– Вот, посмотрите, как много хорошего о вас здесь пишут, – радостно сказала она.

– В самом деле?

– Да. Только вас и хвалят. Остальных всех бранят.

– Интересно!

Деятель взял в руки книгу, перелистал.

– Судя по изложению, – любезно продолжала дама, – если бы не вы, Россия погибла бы значительно раньше. Может быть, хотите, я подарю вам этот том?

– О нет, – мрачно отвечал тот. – У меня самого осталось много авторских экземпляров.

Вот во избежание положения, подобному этому, а также в силу указанных раньше причин, я и решил не писать мемуаров. А вместо воспоминаний большого калибра думаю ограничиться краткими очерками с изложением кое-каких эпизодов из своей жизни в старой России.

И читателям будет легче. И мне самому тоже.

Издатель Василий Васильевич

В первые месяцы 1906 года повсюду началось успокоение. Восстания во всех главных очагах были раздавлены. Наступил последний конвульсивный этап неудавшейся революции: выступления отдельных террористов и экспроприаторов, подстреливавших из-за угла городских и с возгласами «руки вверх!» грабивших банки и магазины. К этим «идейным» экспроприаторам стали присоединяться и далеко не идейные, обогащавшие налетами не партийные кассы, а свои собственные. И, постепенно переходя из плоскости политической в плоскость чисто уголовную, революция так тесно сочеталась с подонками общества, что различить, где выступали революционные деятели, а где работали профессиональные грабители, не мог никто, даже полиция. Тем более что в подражание своим социалистическим коллегам бандиты тоже стали применять облагороженные методы нападения на буржуазные кассы, бросали консервные банки или коробки от сардин, начиненные взрывчатым веществом.

Эти разбойные нападения окончательно отвратили большинство российского населения от революции. Обыватель уже порядком устал и от «терпения» японской войны, и от нетерпения революционеров, и от забастовок, и от уличных беспорядков, и от вооруженных восстаний. Особенно начал раздражать мирных граждан рабочий класс, который от лести социал-демократов действительно так возгордился, что искренно стал считать себя помазанником Божиим, вместо царя.

Недаром в России, в кругах умеренных интеллигентов, пользовалась успехом эпиграмма, помещенная в «Русском вестнике», озаглавленная «К решению рабочего вопроса» и в двух строках выражавшая общее отношение общества к социал-демократической диктатуре пролетариата:

Мне нравятся рабочие,
Но нравятся и прочие.

Наш Новороссийский университет был открыт, чтение лекций возобновилось. Но занятия шли вяло, слушателей было не много; студенты-социалисты не появлялись в аудиториях, не желая примириться с тем обстоятельством, что революция проиграна и что надо с военного положения переходить на мирное.

В мае состоялись у нас государственные экзамены. В прежние годы обычно бывало, что окончившие собирались где-нибудь, чтобы вспрыснуть завершение курса наук; но у нас расставание с университетом прошло бесцветно и без особого веселья. Все внимание интеллигенции приковано было тогда к шумливой и экспансивной Первой Государственной думе, открывшейся 27-го апреля.

Окончив физико-математический факультет, я с грустью стал размышлять: что делать дальше? Прежние наивные мечты сделаться математическим светилом вроде Ньютона, Лапласа, Лагранжа или хотя бы Лобачевского рухнули: таких Лобачевских, как я, наши университеты выпускали ежегодно много десятков, если не целую сотню. Но сделаться простым преподавателем гимназии не позволяло мне самолюбие. Такой исключительный молодой человек и вдруг – учитель математики!

И я вспомнил тогда, что если в качестве математика я никому не известен, то в литературном отношении – дело другое. Я – Азотнокислый Калий! Это – не что-нибудь... Меня почти весь Кишинев знает. И даже в Бендерах у меня были читатели. Может быть, снова заняться газетной деятельностью?

Вот только псевдоним мой – Азотнокислый Калий – мне стал теперь казаться не совсем удачным. Правда, он очень научен и сильно выделяет меня среди всех этих провинциальных малообразованных Горациев, Демосфенов, Альф, Омег, Тарантулов и Оводов; но в нем все-таки чувствуется какая-то излишняя химическая тенденциозность. И почему именно Азотнокислый Калий, а не Хлористый Натр или Закись Азота? Пожалуй, если начать писать в одесских газетах, лучше взять что-нибудь более скромное. Но, с другой стороны, приобретенная в Кишиневе слава погибнет. Неудачный, но прославленный старый псевдоним все-таки лучше, чем удачный новый, но никому не известный.

И вот после долгих колебаний решил я пойти на компромисс со своим тщеславием: слово Калий оставил, Азотнокислый отбросил, написал фельетон на какую-то злободневную тему, подписался – и отправился в редакцию местной газеты «Одесский листок».

Издатель этой газеты – Василий Васильевич Н.* – был замечательным человеком. Начал он свою карьеру простым типографским мальчиком. Но американский склад характера и природный недюжинный ум быстро повели его вверх по пути материального благополучия. Накопив немного денег, а может быть, и просто заглянув их, он стал печатать скромный листок объявлений различных одесских фирм, брал за эти объявления небольшую плату и разносил свой листок по адресам наиболее состоятельных жителей города, которым раздавал его даром. Через некоторое время в листке стала появляться и местная хроника, которую Василий Васильевич собирал сам. А когда даровые клиенты уже привыкли к подобной благотворительности типографского мальчика, этот последний прекратил вдруг бесплатную раздачу листка и сообщил всем старым абонентам, что отныне будет за каждый номер брать деньги.

* Василий Васильевич Навроцкий (1851-1911) – редактор «Одесского листка».

Вознегодовали богатые одесситы, что типографский мальчик перестал для них даром трудиться; покряхтели, почесали затылки, но делать нечего – привычка уже создалась, пришлось подписаться.

И через несколько лет вместо маленького «Листка объявлений» выходила уже довольно большая газета с разнообразным материалом. А прошло еще некоторое время – и у талантливого русского американца возле городского театра вырос огромный дом с собственной типографией, печатавшей одну из самых солидных провинциальных газет, в которой писал «сам» Влас Дорошевич.

Будучи неизмеримо умнее моего кишиневского редактора Федора Егоровича, Василий Васильевич сам свою газету не редактировал, сознавая, что для этого у него не хватает образования. Предоставив это дело опытному журналисту, он занимался только издательской стороной предприятия, а кроме того, по старой памяти зорко следил в газете за хроникой, которую справедливо считал своей специальностью. И горе тому репортеру, который пропускал какое-нибудь известие, о котором сообщала конкурирующая газета «Одесские новости»! Разъяренный Василий Васильевич был тогда весь как Божия гроза.

Обычно рано утром, позавтракав, он спускался из своей квартиры в редакцию, брал свежий номер «Одесского листка», прочитывал хронику и на полях против заметок своих репортеров писал карандашом резолюции:

«Финкель! Узнать об этом деле достоконательно!»

Или еще проще:

«Файвилевич! Что это за ерунда?»

После подобного просмотра хроники Василий Васильевич приказывал подать свои дрожки и совершал обычный ежедневный объезд города. Сначала останавливался он около собора, совершал там краткую молитву, а затем ехал смотреть, все ли в Одессе в порядке и на своем месте. Чувствовал ли он себя при этих объездах чем-то вроде полицеймейстера или градоначальника, трудно сказать; но объезд совершался добросовестно и очень внимательно. С высоты своих дрожек Василий Васильевич пытливым взглядом осматривал базары, товары уличных

торговцев, витрины магазинов; смотрел, есть ли уже посетители в кофейнях, много ли прохожих на улицах, благополучно ли происходит движение трамвая... И затем возвращался в редакцию, где обсуждал с редактором программу следующего дня.

По вечерам Василий Васильевич обычно посещал театры, приглашая гостей в свою постоянную ложу. А знакомства у него были огромные и в артистическом мире, и в промышленном, и среди местной администрации. Иногда он устраивал у себя званые вечера или банкеты, и особенно пышно праздновал день своего ангела 1-го января*. На этих именинах обедало у него несколько десятков человек, главным образом оперных и драматических артистов. Обычно он редко выступал с речами, удерживаемый от них своей интеллигентной и светской супругой; но на именинах после нескольких бокалов и рюмок того или этого язык его развязывался, задерживающие центры в виде директив жены ослабевали, и он был тогда не прочь выступить с каким-нибудь импровизированным спичем. Говорил он всегда умно, нередко – остроумно, но очень часто неправильно с точки зрения употребления слов.

Как-то 1-го января среди приглашенных собрались у него три представителя семьи Петипа: сам Мариус Мариусович, гостивший тогда в Одессе, и драматические актеры – Горелов и Радин. Польщенный присутствием такого знаменитого гостя, как Мариус Мариусович, Василий Васильевич был особенно весел. Хлебнув для большего красноречия лишнюю рюмку чего-то, он встал и с сияющим лицом проговорил:

– Милостивые господа и государыни! Я очень счастлив, что среди нас сегодня находится такой замечательный человек... Это, господа, сам Мариус Мариусович, главный выродок семьи Петипа!

С точки зрения политической Василий Васильевич был человеком умеренных взглядов и причислял себя к кадетам, но не потому что подробно изучил программу этой партии, а потому что против кадетов была местная левая газета «Одесские новости». Чтобы придать особый политический вес своему изданию, он решил сделать из него официальный кадетский орган

* Васильев день, праздник св. Василия Великого (по нов. ст. 14 янв.).

и пригласил в состав сотрудников нескольких местных профессоров – лидеров партии. Профессора должны были собираться время от времени на редакционные собрания с чаем и булками и намечать вместе с редактором ряд вопросов, подлежащих освещению в газете.

Редактор был этим нововведением не очень доволен, так как считал подобные совещания вмешательством в его редакторские права; но практичный Василий Васильевич его успокоил, сказав ему по секрету, что профессорам скоро надоест ходить на собрания, и они оставят газету в покое. Зато имена их останутся и будут приманкой для солидных читателей.

На организационном собрании вместе с профессорами Василий Васильевич почтительно сидел на своем месте в конце стола и ни во что не вмешивался, когда вокруг произносились закругленные и увесистые программные речи новых ученых сотрудников. Но когда заседание пришло к концу, он скромно встал и сказал:

– Господа! Я очень рад, что вы согласились писать. В добрый час. Только разрешите мне попросить об одном: когда вы будете подписывать свои статьи, не пишите сокращенно «проф. такой-то» или «проф. такой». Пишите, пожалуйста, полностью «профессор». А то не всякий человек, особенно на Молдаванке или на Пересыпи, поймет, что значит «проф.», хорошо это или плохо.

Просьба издателя была, конечно, наивной. Но в ней не было и тени иронии. Василий Васильевич не знал, что на «проф.» начинается не только слово профессор, но и слово профан.

Барометрическая дама

Немало любопытных эпизодов вспоминается мне из времен сотрудничества моего в «Одесском листке».

У неутомимого нашего издателя всегда были какие-нибудь очередные новые планы для улучшения дела. Он никак не мог примириться с тем обстоятельством, что конкурирующая левая газета «Одесские новости» имеет тираж не меньше, чем его «Одесский листок».

Однажды обычной своей торопливой походкой вошел он в кабинет редактора и взволнованно заговорил:

– Дорогой мой... Бросьте исправлять рукописи. Я вам скажу что-то очень важное. Вы видите эту газету? Мне дал ее один знакомый. Она – на французском языке, но это ничего, знакомый все объяснил. Так вот, в Париже некоторые газеты делают замечательную вещь: каждый день предсказывают погоду в виде дамы. Смотрят на это... как его, барометр, и вставляют тот или другой рисунок. Когда барометр показывает хорошую погоду, на первой странице ставится дама в легком платье, с шикарной шляпой, с сумочкой в руке; когда барометр, наоборот, указывает сильный дождь, даму ставят одетую в пальто, с раскрытым зонтиком, а над зонтиком косые линии, это значит – ливень... А когда погода ожидается на следующий день ни то ни се, дама держит в руке закрытый зонтик – на всякий случай. Здесь, в номере, как раз она стоит в таком виде. Посмотрите! Здорово, а?

Меланхоличный редактор оторвался от рукописи и усталыми глазами рассеянно взглянул сначала на французскую даму, а затем на издателя.

– Да, вижу, – безразличным тоном проговорил он. – И что же?

– И что же! – обиженно повторил Василий Васильевич, слегка раздраженный равнодушием своего собеседника. – Такая дама – клад для газеты! Все читатели у нас встрепенутся, если мы заведем у себя такую особу. А «Одесским новостям» – будет щелчок! Мы купим этот самый барометр, закажем нашему художнику рисунки, сделаем три клише... И вы каждый день будете смотреть, какая погода ожидается, и помечать типографии, какое из клише ставить в номер.

– Я? – испуганно произнес редактор. – О нет, Василий Васильевич. Увольте.

– А почему?

– Я в метеорологии мало что понимаю. А барометры, кроме того, часто врут. Я не хочу на себя брать ответственность за такие предсказания.

– Да, но это очень интересно! Если хотите, мы можем каждый вечер вместе совещаться...

– Все равно. Каждый раз будет риск. Вот, обратитесь лучше к Каллио: он астроном и математик, пусть и займется.

В тот же день Василий Васильевич поймал меня в редакции и подробно изложил свой проект. Но я тоже испугался. Обстоятельно стал объяснять Василию Васильевичу, что представляет собой барометрическое давление, каково устройство ртутных барометров и anerоидов; указал, что слабое давление бывает при циклонах, приносящих с собою осадки, а высокое давление, наоборот, при антициклонах, сопровождающихся ясной погодой и засухой. Но одного барометра, сказал я в заключение, не достаточно, если не иметь показаний всей сети метеорологических станций, так как циклоны и антициклоны иногда меняют свое направление.

– Все равно! – упрямо ответил Василий Васильевич, не совсем разобравшись в моей лекции. – Если французы в Париже могут печатать такую даму, мы, русские, можем то же самое делать в Одессе. Поедем в город покупать барометр! Вы только смотрите внимательно, чтобы не подсунули второй сорт.

Покупка барометра вызвала в редакции сенсацию. Репортеры обступили издателя, когда он в общей комнате сотрудников торжественно вынул anerоид из картонной коробки и бережно начал рассматривать, расспрашивая меня о способах пользования им. Несколько дней, пока художник делал рисунки, а цинкография по этим рисункам приготавливала клише, Василий Васильевич был буквально одержим своим планом. Он сначала поставил барометр в репортерской комнате на этажерку; затем испугался, что кто-нибудь из репортеров его украдет, и перенес драгоценный прибор в кабинет редактора; но редактор иногда приходил в редакцию поздно, и Василий Васильевич решил запереть барометр в шкаф. Однако такое пребывание в шкафу продолжалось недолго; встревожившись, что в темноте барометр не разберет, какую погоду надо показывать, Василий Васильевич извлек его на свежий воздух и опять водрузил на камин.

Так продолжалось два дня, пока не случилось одного тревожного обстоятельства: в соседнем сквере Пале-Рояля садовник стал из кишки поливать газон. Обильная струя взвивалась в воздух, изгибалась наверху и падала вниз на траву эффектным дождем.

Заметив все это из окна своей квартиры, Василий Васильевич торопливо спустился вниз, схватил барометр с камина и опять запер его в шкаф, пока поливка не кончилась и газон не подсох.

– А вдруг ему покажется, что идет дождь? – объяснил он свои действия редактору, который с тревогой смотрел на него.

Но вот наконец наступил желанный торжественный день. С трех клише, изображавших одну и ту же даму в 3-х различных видах, принесли Василию Васильевичу из типографии оттиски. Дама очень удалась нашему придворному художнику, бывшему в то же время и нашим фотографом. Она была красива и элегантна не только в своей позиции при хорошей погоде, но и во время дождя; под ливнем держала зонтик наклонно вперед, точно пробивая себе дорогу сквозь гущу водяных капель; свободной рукой подхватывала платье почти до колен, для большей грациозности поддерживая его двумя пальчиками; и обнаженные ноги в туфельках на высоких каблуках в каком-то милом танце едва прикасались к луже, которая находилась под ними. А очаровательное личико с кокетливой улыбкой было повернуто к зрителю, точно дождь казался ей не досадным явлением, а пикантной загадочной авантюрой.

Василий Васильевич был в восторге. Так как за несколько дней ожидания он уже свыкся с барометром и не боялся его, то решил заведовать им сам лично, к великой радости редактора и моей. Поздно вечером, когда версталась первая страница, он, благословясь, спустился в типографию и торжественно вручил метранпажу клише.

– Вот, дорогой. Ставьте с Богом.

– Слушаю-с, – почтительно проговорил метранпаж, заранее посвященный в предприятие с дамой. – Даете без зонтика? – добавил он, мельком взглянув на клише.

– Да, барометр показывает «ясно», – авторитетно ответил Василий Васильевич. – Кроме того, я еще его постукал несколько раз. Идет направо.

– Ну, в добрый час.

Указав метранпажу, что даму лучше всего поставить наверху справа, недалеко от заголовка газеты, Василий Васильевич поговорил еще об очередных делах, вручил своему собеседнику два

остальных клише дамы, которые тот должен был хранить в столе, и ушел.

Было около двенадцати часов ночи. Придя к себе в спальню, Василий Васильевич, прежде чем лечь, открыл окно и пытли-во стал разглядывать небо. Ночь была чудесная, тихая, звездная. На небе – ни признака туч. Но это – с южной стороны. А с северной?

Василий Васильевич вышел в коридор, отправился в ванную комнату, чтобы никого не тревожить, открыл окно там и, высунув голову, осмотрел северную часть неба.

– Тоже хорошо, – успокоительно пробормотал он. – Теперь можно лечь.

Обычно сон был у него крепкий, спокойный, несмотря на нервную жизнь. Однако на этот раз спалось ему не так, как всегда. Из-за барометрической ли дамы, или из-за чего-нибудь другого, но он долго ворочался на кровати, пока уснул. И сколько спал – неизвестно. Но вот ночью вдруг точно какой-то внутрен-ний толчок разбудил его. Он испуганно приподнялся, прислушал-ся... И в ужасе замер.

– Кап, кап, кап... – слышалось за окном зловещее, страшное.

Да, это был дождь. Настоящий хороший освежающий дождь, с теми крупными уверенными каплями, которые бывают только летом.

Соскочив с постели, Василий Васильевич порывисто надел халат, побежал по коридору и опрометью скатился по лестнице вниз, в типографию.

– Остановить машину! – взревел он.

– Не беспокойтесь, Василий Васильевич, – мягко заговорил появившийся из-за наборных касс метранпаж. – Я задержал пер-вую страницу. Слышу – дождь, решил подождать, чтобы прошел. А если не пройдет, разбудить вас.

– Ну, спасибо, дорогой мой, – обрадовался Василий Василье-вич. – Отлично. Только разве этот мерзавец пройдет? Послушай-те, как подлец хлещет. Проклятый барометр!

– Да, пройти ему, пожалуй, трудно, – почтительно согласил-ся метранпаж. – Значит, как вы полагаете? Поставить дамочку с зонтиком?

– Разумеется!

– С раскрытым?

– Я думаю, с раскрытым! Кто в ливень ходит с закрытым? Ах, Господи, Господи!

Василий Васильевич проследил, как метранпаж вынул из рамы первой страницы легкомысленную даму в легком платье, заменил ее другой, элегантно переходящей через лужу воды, и, успокоившись, вернулся к себе. Открыв окно и удостоверившись, что дождь продолжает идти, и все небо обложено тучами, он сбросил халат, перекрестился, лег в постель и сразу погрузился в глубокий сон.

Было совсем светло, когда Василий Васильевич проснулся, освеженный и отдохнувший от тревожных предыдущего дня. Сладко потянувшись, он приоткрыл глаза, посмотрел в сторону окна... И со страхом зажмурился. Ему показалось, что он еще спит; что все, только что увиденное им, – глупое сновидение, игра испуганного воображения. Нужно только встряхнуться, ущипнуть себя или громко уверенно откашляться – и все пройдет, наступит радостная спокойная действительность.

Василий Васильевич громко кашлянул, слегка приподнял веки, опять взглянул на окно... И глубокий стон вырвался из его груди.

Небо было ясное, нежно-голубое, прозрачно-радостное. В сквере, приветствуя чудесное утро, оживленно щебетали птицы. Благодатные капли ночного дождя сверкали в листве деревьев под косыми лучами взошедшего солнца.

А Василий Васильевич сидел у окна за маленьким столиком, уронив голову, охватив ее руками. И первый раз в жизни ощущал в себе острую ненависть к голубому небу, к ясному утру, к щебечущим птицам.

После этого несчастного случая барометрическая дама просуществовала у нас в газете около двух месяцев и вела себя хорошо. Прекратил ее Василий Васильевич осенью, когда погода стала слишком путаной и когда на один день приходилось нередко по три «дождя» и по три «ясного неба».

А когда кто-либо из читателей спрашивал Василия Васильевича, почему дама не появляется, он угрюмо отвечал:

– Ни одной женщине в мире ни в чем нельзя верить.

Одесские журналисты

Вспоминаются мне, помимо нашего милейшего издателя Василия Васильевича, кое-какие сотрудники «Одесского листка» и «Одесских новостей».

Были среди них, разумеется, и люди солидные, местные профессора или общественные деятели, писавшие скучно, но весьма обстоятельно; были не менее почтенные старые журналисты с радикальным закалом, боготворившие Добролюбова, Писарева, Чернышевского и дававшие торжественные статьи на любые темы, всегда приходившие к выводу, что русский Карфаген должен быть разрушен. Но, в отличие от профессоров, эти либеральные Сципионы обычно оживляли свои произведения ассортиментом цитат, который брали из Пушкина, Гоголя, Грибоедова, из сборника латинских поговорок или из календаря; редкий их фельетон или передовая статья обходились без «сик транзит gloria мунди»*, без «де мортуис ниль низи бене»** или без «свежо предание, но верится с трудом».

Среди этих почтенных журналистов в «Одесских новостях», как и в «Киевской мысли», встречались также и имена политических эмигрантов того времени. Например, имя будущего светила большевистской революции Л. Троцкого. Несмотря на «ужасный гнет» царского правительства, этот страдалец не только печатал в «Одесских новостях» свои статьи, но и исправно получал за них гонорар. А подобного явления, как известно, никогда впоследствии не наблюдалось у новых эмигрантов-журналистов, когда после октябрьской революции Троцкий и Ленин заменили собой «проклятую царскую власть».

Помимо упомянутых главных кадров южнорусской журналистики пришлось познакомиться мне и с многочисленными одесскими репортерами. Это был особый тип людей, без которых не только южные, но и вообще все российские газеты не могли существовать. Репортеры-одесситы всем своим существом, не только душой, но и телом, были созда-

* «Так проходит мирская слава» (лат.).

** «О мертвых или хорошо, или ничего» (лат.).

ны для репортажа и добывания хроники. Это была их стихия. В поисках информационного материала они проникали сквозь закрытые окна и двери; свободно входили туда, где надпись гласила: «вход воспрещается»; накидывались на свои жертвы в учреждениях, на улице, в трамвае, во время купания на Ланжероне или в Аркадии. Король этих репортеров, некий Горелик, в деле интервьюирования проделывал чудеса. Он на ходу вскакивал в поезд, в котором следовала какая-нибудь важная особа, и, появившись в салон-вагоне, требовал интервью до тех пор, пока особа не произносила несколько слов вроде «ступайте вон» или «оставьте меня в покое». Тогда, высаженный из поезда на ближайшей станции жандармами, Горелик мчался в редакцию и, основываясь на высказанных высокопоставленным лицом мыслях, описывал свою беседу в пространной статье.

Из таких наиболее способных и наименее стесняющихся репортеров нередко выходили передовики, фельетонисты и даже редакторы. Так, два репортера «Одесского листка» – Финкель и какой-то другой – возымели гениальную мысль издавать «Газету-Копейку». Успех этой «Копейки» среди мелких чиновников, почтальонов и дворников был потрясающий. Финкель, когда-то продававший на базаре рыбу, сделался маститым редактором и писал сам передовые статьи с грозными предостережениями Петербургу: «В последний раз предупреждаем правительство»... А его компаньон за подписью «Фауст» строчил фельетоны, игриво начиная их такими словами: «Онегин, я скрывать не стану, что делается у нас в Городской управе», или: «Доколе ты, Катилина, будешь злоупотреблять с нашим терпением на базаре, где стоит такая вонь?».

В скором времени, однако, оба приятеля чего-то не поделили – не то славы, не то денег, разошлись и стали каждый издавать отдельную «Копейку». Финкель со своей трибуны разоблачал прошлую общественную деятельность «Фауста», который был комиссионером большой гостиницы и услужливо поставлял гостям все, что им было угодно; а Фауст, чтобы сбить противника с его литературного пьедестала, стал печатать у себя фотографию Финкеля, окруженную со всех сторон рыбами.

Иногда из таких мелких репортеров вырабатывались бойкие фельетонисты и для крупных газет. Помню, например, одного такого – Александра Александровича Т.

Этот Александр Александрович приехал в Одессу из Крыма, где был, кажется, хроникером «Крымского вестника», и предложил свои услуги Василию Васильевичу. Писал он живо и свободно по всем вопросам, в которых разбирался и не разбирался, и сразу завоевал симпатии издателя. Был он брюнетом лет 30-ти какого-то неопределенного восточного типа. Носил и летом, и зимой рыжую барашковую шапку, высокие сапоги и почему-то хлыст. Добродушный, разговорчивый, он вначале всем нам понравился, но постепенно мы начали замечать в нем кое-какие странности.

Прежде всего, по его словам, происходил он из знатного татарского крымского рода, а какого – неизвестно. Затем окончил блестяще юридический факультет, а где – тоже неизвестно. Далее – наездником был он замечательным, брал на скачках призы, но на каких именно – никто не знал. Золотистый жеребец его Джигит пользовался во всем Крыму огромной славой, и Александр Александрович решил привезти его с собой из Феодосии в Одессу. Но во время погрузки несчастный Джигит оступился на сходнях, упал в воду между пароходом и пристанью, утонул, и никто из нас так его и не видел.

Художником Александр Александрович был незаурядным, его марины где-то пользовались огромным успехом. И морское дело знал отлично, так как каждое лето на собственной яхте совершал прогулки с берегов Крыма в Константинополь.

– Скажите, – во время одной из бесед с ним искренно спросил я, – а вы случайно не музыкант?

– Ну конечно, – просто, без чванства, ответил он. – А что?

– Да я ищу для нашего любительского струнного квартета партнера, который играл бы на альте.

– В самом деле? – обрадовался он. – Это удачно. Я как раз играю на альте и имею превосходный инструмент, нечто среднее между Страдивариусом и Амати.

Ответ Александра Александровича воодушевил меня. Как известно, найти альтиста среди музыкантов-любителей

очень трудно. И я в тот же день сообщил своим партнерам эту приятную новость.

Но прошла неделя, другая, третья. При каждой встрече я спрашивал Александра Александровича, когда же он придет ко мне со своим инструментом. Каждый раз он объяснял, что еще не успел распаковать свои сорок пять чемоданов, которые привез из Крыма. И, наконец, когда однажды я снова задал ему тот же вопрос, он тяжело вздохнул и грустно ответил:

– Представьте, дорогой мой, какое несчастье! На днях вешал я на стену картину Рубенса, подлинник, который мне достался по наследству от хана Гирея... Рама у картины очень тяжелая... А внизу, под картиной, на столике без футляра лежал альт... Гвоздь сорвался, рама упала и углом разбила у альта всю верхнюю деку. Пришлось для починки послать инструмент в Италию.

Картина Рубенса и несчастье с альтом уже вызвали во мне кое-какие сомнения. А один случай совсем поколебал веру в точность утверждений Александра Александровича.

Дело в том, что этот всесторонне образованный человек уверял всех своих новых знакомых, что он знает восемь восточных языков, прекрасно говорит по-турецки и по-арабски. В одном доме, где собирались иногда за чашкой чая мы, студенты и курсистки, одна коварная девица решила как-то проверить, действительно ли Александр Александрович, приходивший иногда на наши собрания, знает арабский язык. Она случайно достала санитарную инструкцию, которую местные власти отпечатали для русских мусульман-паломников, ездивших через Одессу на поклонение в Мекку. Инструкция была составлена по-арабски и по-русски; с одной стороны арабский текст, с другой – параллельный русский.

За чаем, когда Александр Александрович явился в качестве заранее приглашенного гостя, безжалостная курсистка привела в исполнение свой жестокий план. Протянула оторванную страницу арабского текста и с невинным видом спросила:

– Александр Александрович... Переведите, пожалуйста, что здесь напечатано?

Мускулы на лице гостя не дрогнули. Наоборот. Лицо приняло радостное выражение. В глазах засветилось снисходительное

любопытство. Он взял в руку текст, небрежно взглянул на него и твердо произнес:

– Ага. Это известная мусульманская молитва.

– А какая именно?

– А вот... Сейчас. «Велик Аллах и Магомет, пророк Его. Алла, Алла! Все в мире происходит по твоему замыслу... Без твоего одобрения не растет на земле трава, не дует в воздухе ветер, не колыхается на своем ложе море...»

За столом наступила напряженная тишина. Все были растроганы красотой молитвы, которую произнес Александр Александрович. А когда он окончил говорить, курсистка достала из сумочки страницу с русским текстом и удивленно сказала:

– Как странно! А здесь, в переводе, представьте, сказано: «Все паломники, сходя с парохода, обязаны направляться в санитарный пункт возле таможни, где должны вымыться в бане и сдать свои вещи для дезинфекции...».

Прошло еще месяца два, и все знакомые окончательно перестали верить Александру Александровичу. Даже тогда, когда он говорил правду. А некоторые его и жалели. Да и понятно. Человек, который за все берется, все знает и все умеет, в конце концов вызывает в ближних такую же снисходительную жалость, как человек, боящийся за что-либо взяться, ничего не знающий и ничего не умеющий.

Однако, как ни удивительно, издатель наш почему-то продолжал верить Александру Александровичу, часто с ним совещался, давал темы для статей или какие-нибудь поручения из области репортажа. И Александр Александрович старался. Советы давал решительные, хронику приносил исключительную, а в фельетонах своих окончательно закусывал удила и не знал удержу в цитатах. Какую-нибудь остроту, подслушанную в кафе Робина, он выдавал за восточную мудрость; смешивал слова Цезаря со словами Наполеона; а царю Соломону приписывал все изречения, происхождение которых ему было неясно.

Так жил и работал во славу южнорусской печати Александр Александрович Т., который потом перебрался в Москву и там во время революции давал населению точную информацию о происшедших событиях.

Артистическая жизнь

За время сотрудничества своего в «Одесском листке» немало встречал я любопытных фигур и популярных людей того времени.

Видел я Уточкина*, известного гонщика-автомобилиста, который стал одним из наших первых авиаторов. Это был замечательный человек, с отчаянной рыжей головой, с бесстрашной душой. На Николаевском бульваре он проделывал опыты: разгонял свой автомобиль до предельной скорости по направлению к обрыву и у самого парапета внезапно останавливался. На аэроплане, построенном им самим из какого-то примитивного материала, он смело совершал первые свои авиационные опыты, лихо перелетая через заборы и деревья на Малом Фонтане, приводя в ужас и в восторг присутствовавших зрителей.

Были тогда в Одессе и знаменитый борец Заикин**, и популярный певец Морфесси**, и приятель А.И. Куприна клоун Жакомино***, и сам Куприн. Веселились они там изрядно, а однажды на потеху публики устроили в пользу студентов спектакль, поставив «Прекрасную Елену». Куприн играл Калхаса, Заикин – Ахилла, Морфесси – Менелая. Что происходило на сцене – жутко сказать. Заикин-Ахилл пыхтел, рычал и грозно шевелил своими бицепсами; а Куприн-Калхас, для храбрости хвативший заранее большое количество семидесятиградусного нектара, стоял в одежде жреца среди цветов со слезами на глазах, бормотал что-то неподобающее и умоляюще поглядывал на кулисы, намереваясь туда улизнуть.

Куприн и Бунин в те времена часто приезжали в Одессу и подолгу в ней жили. Куприна, конечно, публика больше любила и как автора, и как человека. Он держал себя мило, благожелательно, без всякой рисовки и писал так же, как жил: искренно,

* Сергей Исаевич Уточкин (1876-1916) – авиатор, вело- и автогонщик, пловец, фехтовальщик, боксер, футболист.

** Иван Михайлович Заикин (1880-1948) – борец, авиатор, артист цирка.

*** Юрий Спиридонович Морфесси (1882-1949) – эстрадный и оперный певец (баритон). С 1920 в эмиграции, жил в Белграде, Париже и Берлине.

**** Жакомино (настоящее имя Джакомо Чирени; 1884-1956) – клоун, цирковой артист. Выступал в петербургском цирке Чинизелли, много гастролировал по России. Снимался в кино.

просто, неряшливо. Писал то, что думал и чувствовал. Талант повествования в смысле выдумки и занимательности сюжета был у него выше, чем у Бунина. Кроме того, в его произведениях наблюдалась и мягкость, и нежность, и некоторая любовь к людям, им описываемым. А Бунин уже с молодости проявлял сухость, черствость, и из всех героев своих повестей и рассказов любил только себя. Если Куприн, в силу своей безалаберной жизни, писал хуже, чем мог дать его талант, то с Буниным было наоборот – благодаря своей усидчивости и тщательной обработке написанного он всегда казался выше своего действительного таланта.

Из-за печальной склонности к земному нектару, так ярко обнаружившейся в исполнении партии Калхаса, Куприн не попал в Академию наук по отделу изящной словесности, на что, по существу, имел несомненное право. К слову сказать, с нашими изящными академиками при выборе их произошло грустное недоразумение. Кандидатами были Чехов, Горький, Мережковский, Куприн, Бунин. Но президент академии – великий князь Константин Константинович – отклонил кандидатуру Горького из-за близости этого просвещенного босяка к революционным кругам. Чехов обиделся за Горького и отказался. Мережковский не попал в число бессмертных, кажется, за то, что интересовался «черными мессами». А Куприн своим образом жизни совершенно не походил на академика, особенно по ночам, когда академики должны спать и набираться сил для дальнейшей полезной деятельности.

Так, например, рассказывали, что, будучи еще офицером Днепровского полка, он в Проскурове подготовился к Академии Генерального штаба, поехал в Петербург и блестяще начал сдавать экзамены. Но когда испытания уже приходили к концу, злополучного офицера-днепровца вызвали в канцелярию и заявили, что дальнейшие экзамены ему держать запрещено. Оказалось, что перед отъездом из Проскурова несдержанный Александр Иванович кутил в местном летнем саду и при помощи своих собутыльников выкупал в реке Буге присутствовавшего помощника пристава. Общими силами помощник был погружен в воду и после этого извлечен на берег. Но, к сожалению, Куприн в этой истории сам тоже не вышел сухим из воды: местные власти, помимо командира полка, дали знать губернатору, губернатор сооб-

шил в Петербург... И Академия Генерального штаба Куприну улыбнулась.

Ясно, что при таком послужном списке бедный Александр Иванович получил улыбку и от Академии наук. Таким образом, все кандидаты и бессмертные постепенно отпали, и в конце концов все российское литературное бессмертие сконцентрировалось на одном только Бунине. Бунин действительно вполне подходил под тип академика. Был благоразумен, тих и умерен во всем, кроме тщеславия; пил в меру, по-академически, и не дружил с клоунами и борцами, чем выгодно отличался от Куприна; «черными мессами», подобно Мережковскому, не интересовался; а политически был либералом, но только настолько, чтобы быть желанным гостем в левых издательствах. Относился он к своей работе с уважением, с трезвым рвением, и гениально умел под блеском формы своих произведений скрывать нищету их содержания.

Одесские журналисты, художники, артисты оперы, драмы, оперетты и их друзья нередко объединялись по ночам в пивной Брунса или в каком-нибудь ресторане. Иногда на этих собраниях бывали Куприн и Бунин, что поднимало у всех настроение. Обычно же протекали эти собрания не так оживленно, не было центра внимания. Все разбивались на группы, говорили о своих профессиональных делах. В одном углу хорист оперы хвастался, что ему дали сольную партию в «Пиковой даме», где он должен был пропеть всего шесть слов, но очень ответственных: «Хозяин просит дорогих гостей в зал». Пропел эти слова начинающей комприарию отлично, с блеском и со всеми нужными художественными нюансами, но, к сожалению, вместо «в зал» сказал «в зале». Режиссер за это на него напал и долго ругался. А между тем какая тут разница?

А в другом углу уже не хорист и не комприарию, а один из солистов с мировой южнорусской известностью говорит по обыкновению о своих головокружительных успехах.

– Оскар Семенович, – почтительно спрашивает его слушатель репортер, подавленный величием своего собеседника. – А скажите, откуда у вас на лице такой длинный шрам, извините за выражение? Это – от сабельного удара?

– Нет, от бутылочного, – скромно отвечает тот.

Южнорусские художники имели у нас свою собственную организацию, нередко устраивали выставки. А иногда бывали здесь выставки «Мира искусств», или кто-нибудь привозил из Москвы и из Петербурга картины какого-либо из крупных художников.

Помню, как один журналист, А.И. Филиппов, решил познакомиться одесскую публику с Рерихом. В настоящее время при увлечении Пикассо и Матиссом Рерих кажется архаическим художником, вроде Чимабуэ. Но тогда он был для многих дерзким новатором, ужасным декадентом. Поэтому одесская интеллигенция всколыхнулась и двинулась смотреть Рериха.

– Ну что? – явившись на выставку, спросил я стоявшего у входа Филиппова, с которым был раньше знаком. – Как будто ваше дело имеет успех?

– О да, – радостно ответил он. – Многие ругаются, ужас!

И Филиппов был прав. Вскоре после того, как я прошел внутрь и медленно, с долгими остановками, стал обходить стены, недалеко от меня разыгралась любопытная сцена.

Почтенный седой генерал в сопровождении пожилой дамы, очевидно супруги, подошел к тому месту, где висела картина «Каменный век». Взглянув на полотно, генерал издал сначала злое шипение, затем тяжело засопел, фыркнул. И в тишине зала, по которому беззвучно двигались посетители, раздался его грозный голос:

– А это еще что такое? Муся, посмотри в каталог!

– Это?.. «Каменный век», – уныло ответила дама.

– Каменный век? – голос генерала поднялся на несколько тонов выше и принял еще более злое шипение. – Ну и свинство! Издевательство! Черт знает что!

– Да, – пренебрежительно согласилась дама. – Безобразия.

– Ячница с луком! Мазня! – продолжал бушевать генерал. – Разве это трава? А это – камни? И где он видел такое небо? В какой губернии? Я понимаю, можно дать траву редкого цвета, и темно-зеленую, и с желтизной. Но ты хоть несколько травинок обозначь, чтобы люди видели, суша это или болото!

Войдя в роль беспощадного критика, генерал не мог уже остановиться. Вокруг собралась толпа. Некоторые одобрительно поддакивали, некоторые саркастически улыбались, считая, что гене-

ральский чин не позволяет человеку быть ценителем живописи. Наконец на шум явился и сам Филиппов.

– В чем дело, ваше превосходительство? – любезно и даже чуть подобострастно спросил он. – Вы чем-нибудь недовольны?

– А как вы думаете: может здравомыслящий человек быть этим доволен? Я пришел наслаждаться искусством, получить впечатление, а мне подносят такое, от чего печень болит! Я человек старый, я не желаю, чтобы меня раздражали! И где тут, главное, каменный век? Вообще, кто его видел?

– Простите, ваше превосходительство, но, очевидно, он так представлялся воображению автора.

– Мало ли что представлялся! Не все, что представляется, можно показывать. Надо, чтобы не только ему, но и другим было интересно смотреть!

– Простите, ваше превосходительство, но Николай Константинович Рерих – известный живописец. В Третьяковской галерее имеются его картины. А кроме того, он состоит директором петербургской Художественной школы, под почетным покровительством ее императорского высочества великой княгини Марии Павловны.

– Все равно, в Третьяковской или не в Третьяковской! А как вы сказали? Чьим покровительством?

– Ее императорского высочества великой княгини Марии Павловны.

– Августейшим покровительством? Ага. Это, разумеется, огромная честь. Хм. Да. Разумеется. Но ты дорожи в таком случае покровительством! Надо соответственно и краски подбирать, и сюжеты! Оно, сказать по правде, некоторая древность в картине чувствуется. Безусловно. И в траве, и в камнях... Но почему все-таки небо так мрачно? Я понимаю, суровость необходима. Это вам не современность, а седая старина! Люди в шурах ходили! Но к чему слишком подчеркивать? Так вы говорите – ее императорское высочество? Уж ее высочество, несомненно, в живописи толк понимает, это вы извините!

Генерал успокоился. Сделав свое дело, Филиппов ушел. Пробыв некоторое время в соседней комнате, я вернулся опять в главный зал и увидел: его превосходительство стоял по-прежнему возле

«Каменного века», окруженный новыми посетителями, и говорил кому-то из них:

– Это, батенька, понимать надо. Прочувствовать. Сначала, может быть, и не ухватишь, в чем тут сила. Даже неправдоподобным покажется. А между тем, извольте вдуматься, когда это было? Здесь вам не времена Наполеона или даже Дмитрия Донского. Это теряется во мгле веков! Тут сами скалы древностью окутаны. И трава. Даже небо небывалое, доисторическое. Рерих – то вам не какой-нибудь встречный поперечный художник. Находится под августейшим покровительством ее императорского высочества великой княгини Марии Павловны!

